

## Игра на вылет

Мы познакомились с ним случайно. Каждое утро он выныривал из темного подъезда старого дома с облупившимися стенами в загаженный собаками скверик, выходявший с безалаберной и шумной улицы имени героя варшавского гетто Мордехая Анилевича, где он, старик, жил, на более тихую и просторную улицу другого легендарного еврейского героя — Бар Кохбы, садился на выщербленную деревянную скамейку под благообразным тенистым платаном и принимался тонкой обломанной веточкой отпугивать от заскорузлого, смахивающего на древний пергамент лица настырных мух, которые своими до неприличия дерзкими приставаниями не давали ему покоя. Веточка была сухонькая, старенькая, как и сам жилец дома с облупленными стенами; на ней, как и на нем, едва держалось несколько жухлых и жалких листиков, подуй ветерок покрепче, и они облетят.

Когда докучавшие ему мухи улетали к соседнему мусорному баку, чтобы полакомиться каким-нибудь зловонным деликатесом, старик ненадолго засыпал. Может, это только со стороны казалось, что он дремлет, а может, он просто прикрывал свои утомленные глаза — пускай, мол, хоть в конце его ухабистого земного пути отдохнут немножко, смотри, не смотри, ничего нового в его патриаршем возрасте на белом свете уже не увидишь.

Иногда старик надвигал на маленькие, как морские ракушки, уши соломенную шляпу, запахивал потертую куртку, вставал с деревянного трона и, подстегивая себя неразлучной веточкой, прохаживался в допотопных, советского производства сандалиях, привезенных на Ближний Восток из бывшего Советского Союза, от улицы Мордехая Анилевича до улицы Бар Кохбы и обратно.

По правде говоря, первый раз, когда я его увидел, то собирался по обыкновению пройти мимо съездившегося незнакомца, как проходят мимо одиноких и захиревших деревьев, тоскующих о своей далекой и славной молодости, о тех временах, когда они тянулись к синему небу, чтобы своей буйной праздничной зеленью порадовать Господа Бога, не мороча Ему голову своими жалобами на недуги, на утраты и обиды, но что-то меня вдруг остановило, — взгляд мой зацепился за веточку с жухлыми листиками, которой старик, когда вставал и совершал вокруг платана корот-

---

\* Григорию Кановичу, известному советскому, а ныне израильскому писателю, исполняется в 2009 году 80 лет. Поздравляем! И с радостью публикуем присланный им рассказ.

кие прогулки, погонял, словно хлыстом, свои худые в широких белых панталонах ноги, упорно отказывавшиеся отрываться от земли, словно они были вмурованы в раскаленный асфальт.

— Простите, — вдруг обратился он ко мне, — вы говорите по-русски?

— Да.

— У нас в Одессе, скажу вам по секрету, все говорили по-русски... даже греки, — сказал он с приветливой чуть озорной улыбкой, которая была моложе его на уйму лет, и обмахнулся своей веточкой, как японским веером. — А тут... в ИзраИле не с кем и поговорить. Все суетятся, спешат, бегут...

Слово Израиль он произнес с ударением на третьем слоге и еще раз задорно улыбнулся.

— Извините, я вас, наверно, задерживаю?

— Нет, нет, — солгал я, чтобы не обидеть его.

— Каждый день с девяти утра до двенадцати и с четырех до семи я сижу вон на той скамейке под платаном. Надеюсь, вы отсюда видите ее?

— Вижу.

— Это мое постоянное место в ИзраИле. Так вот, сижу и терпеливо жду, авось кто-нибудь из прохожих присядет рядом. Жена моя Люся говорит, что когда я умру, а умру я, по-видимому, скоро, эту скамейку назовут моим именем — скамейка имени Зюни из Одессы... По паспорту я, как вы понимаете, Зиновий, но меня все всегда почему-то звали ласкательно — Зюней... Так будем же знакомы.

— Очень приятно, — ответил я и тоже назвал свое имя, чувствуя, как в моем сердце затеплилась симпатия к этому сгорбленному антикварному старику. Я вдруг поймал себя на мысли, что теперь наше знакомство с ним вряд ли оборвется и будет наверняка иметь какое-то еще неясное для меня, скорее всего, мимолетное продолжение. — Разве, многоуважаемый Зюня, за целый день никто к вам так-таки и не присаживается? Разве все проходят мимо?

Зюня прищурился, посмотрел на меня насмешливо-игривым взглядом и сквозь частокол вставных зубов с ехидной ленцой процедил:

— Почему вы так думаете? Я же не тифозный. Присаживаются. Но как назло, всякий раз не те....

— Что, прошу прощения, значит *не те?*.. Не вашего возраста?

— Не те, кто говорит по-русски... Больше всего местные люди... Старухи с полными авоськами фруктов и овощей, чтобы перевести дух, молодые женщины с детишками в колясках или с пушистыми, вроде бы китайскими собачками на коленях. Бывает, конечно, что кто-нибудь возьмет да и спро-

сит о чем-то по-ихнему, поздороваётся, бросит "бокер тов", а я, скажу вам по секрету, на иврите ни бэ, ни мэ... только улыбаюсь, как последний олух. Ведь улыбку и слезы все и без всякого перевода понимают. Правильно я говорю?

— Правильно. Все понимают, — сказал я, удивляясь его говорливости и желанию как можно дольше поддержать негаданно завязавшуюся беседу.

— Скажу вам по секрету, я тут уже восьмой год живу, а кроме "бокер тов" только "беседер" и "ма нишма" знаю. Маловато для одессита, который любит всласть почесать языком.. Бывает, конечно, что и наши, говорящие по-русски, присядут. Курят одну сигарету за другой, жвачку жуют, лузгают семечки и матерятся наперегонки. Если бы вы только знали, как они матерятся! В пять, а то и в шесть этажей. Похлеще, чем в Одессе, а ведь она на весь мир своими крепкими выражениями славится. Вонь от мата коромыслом стоит. Вы, наверно, не поверите, но я никогда в жизни не матерился, хотя полвека не в санатории для пионеров-отличников работал, а на стройках, где без мата как без кирпичей или цемента — ну никак не обойтись... Никогда я свой рот матерщиной не поганил. Даже когда мне очень хотелось... А вы, я сужу, извините, по вашему внешнему виду, тоже, по-моему, не материтесь....

— Каюсь, порой приходится...

Моя откровенность, видно, пришлась ему по душе, и он, смешно путаясь в своих нелепых панталонах, попытался ускорить шаг, чтобы если уж не поравняться со мной, то хотя бы слишком от меня не отстать.

— Маленькая просьба. Если вы можете, не мчитесь от меня во весь опор далеко вперед, это, не про вас да будет сказано, я уже рвусь к финишу, а вам еще рановато. И говорите, пожалуйста, громче... Со слухом у меня проблемы с самого детства. Боюсь, что когда наш всемилостивейший Господь Бог призовет меня к себе, я не услышу Его голоса. Моя дочь Диана обещала купить мне слуховой аппарат... В Одессе, скажу вам по секрету, кроме моря, можно все купить.

— Ну, раз обещала, то обязательно купит. И вообще, надо верить, что Бог вас к себе позовет нескоро, — искренне утешил я его, попутно узнав, что его дочь Диана проживает в Одессе.

— Нескоро, — хмыкнул он и снова одарил меня игриво-насмешливым взглядом. — Какой хозяин, скажите на милость, любит, когда у него засиживаются в гостях? А я уже, спасибо нашему Главному Хозяину, засиделся под Его крышей... Пора честь знать и откланяться....

Его было интересно слушать, но на такую долгую беседу с незнакомым человеком я, право слово, не рассчитывал, у меня были неотложные дела

в городе, и я уже готовился по-дружески с ним попрощаться до следующей раз. Но Зюня уловил мою нетерпеливость и великодушно произнес:

— Очень рад был с вами познакомиться, — он помолчал, пожевал свои иссохшие губы и добавил: — Но, если позволите, как испокон веков повелось у нашего брата еврея, еще один малюсенький вопросик вдогонку. Можно?

— Да, — удостоил я его своим не очень вдохновляющим согласием.

— Вы в шахматы играете?

— В юности играл... Сейчас некогда. Работа, работа, работа...

— Жаль... У нас в Одессе все евреи в шахматы играли. Даже знаменитый пианист Эмиль Гилельс. Говорят, что Эмиль играл хуже, чем на рояле, но играл и даже выигрывал. Мир не перевернулся бы, если бы мы с вами сели на скамеечку под платаном и одну-другую партишку сыграли бы. Вспомните молодость и, как Ботвинник или Капабланка, двиньте, пожалуйста, пешку с клеточки e2 на клетку e4, а дальше все само собой пойдет. На всякий случай я бронирую за вами белый цвет...

И Зиновий, когда-то игравший, видно, не хуже, чем знаменитый Эмиль Гилельс, улыбнулся своей обезоруживающей, не по летам задиристой улыбкой.

— Спасибо за бронь и до свидания, — сказал я, не прельстившись забронированным первым ходом белыми.

Старик долго провожал меня взглядом, как будто он стоял на перроне, а я догонял уходящий поезд.

— До свидания, — промолвил он и помахал мне своей мухобойкой-веточкой.

Долгое время наши пути с Зюней не пересекались. Когда я проходил мимо скамейки, то она либо пустовала, либо была оккупирована незнакомыми людьми, и я уже почти не сомневался, что с ним случилось что-то неотвратимое. Мне не хотелось думать о самом печальном варианте, но в голову упрямо лезли только мысли о смерти, о том, что старик и без слухового аппарата, обещанного дочерью Дианой, все-таки услышал призыв Господа, нашего Главного Хозяина, и, вдоволь погостивши на этой грешной земле, откланялся. Я корил себя за то, что не осведомился, в какой квартире и с кем кроме жены Люси, намеревавшейся присвоить его имя скамейке в сквере, он живет, есть ли у него в Израиле дети, внуки, родственники. Не может быть, чтобы никого не было. Неужели старики приехали доживать свой век в стране, в которой у них нет ни одной родной души, и им не на кого опереться?

Если Зюня жив, решил я, то обязательно сыграю с ним в шахматы. Белыми ли, черными ли, не имеет значения.

Был бы только жив!

Как же я обрадовался, когда через неделю еще издали увидел его под платаном в прежней позе, в той же экипировке — надвинутая на уши соломенная шляпа, тяжелые сандалии на босу ногу, полотняные панталоны. Единственным сюрпризом была для меня только шахматная доска, которая вместе с ним грелась на солнце. На ее разрисованной поверхности красовались два вздыбившихся друг против друга коня — белый и черный, чуть ниже на кромке была выгравирована дарственная надпись "Зиновию Каплану в день его шестидесятилетия от коллектива третьего Одесского стройуправления" и год — "1984".

— Вы, как я вижу, уже приготовились к бою, — после обмена короткими приветствиями сказал я.

— Я всегда к бою готов... Всегда!.. Был бы только противник, которому можно дать мат. Чего греха таить, иногда прихватываю с собой доску. А вдруг среди прохожих найдется какой-нибудь желающий, партнер! Но до сих пор я так никакого соперника и не дождался. Говорят, морская набережная игроками кишмя кишит. И специальные столики там сколочены. Но к морю я уже не ходок. От ходьбы в горку сразу же задыхаюсь. Вас сам Бог послал. Может, вы согласитесь, и мы с вами скрестим шпаги...

— А доска у вас красивая, — промолвил я уклончиво, продолжая стоять под платаном.

— Приятно слышать. Скажу вам по секрету, все, что я нажил, я оставил дочери — квартиру на Матросском спуске, машину "Жигули", дачу на Большом Фонтане, свои награды — медали "За оборону Одессы" и "За доблестный труд", а эту доску и любовь привез сюда.

— Любовь?

— Меня удивляет ваше удивление. Вы, наверно, ни разу не были в Одессе. Этот город нельзя не любить. Какой-то босяк-остроумец сказал, что даже покойники любят Одессу.

— Ух, ты! Лихо сказано!

— Жалко, что я не сплю по ночам, даже таблетки не помогают, а то ходил бы и ходил бы во сне по Одессе до самого рассвета. По Дерибасовской, по Ришельевской, по Привозу... — Зюня открыл доску и стал торопливо расставлять фигуры: — Ну что? Начнем, пожалуй, как пел покойный Лемешев. Ваш ход!

Он так меня упрасивал, что отказаться я не мог. Ничего со мной не станет, подумал я, если из гуманных соображений я сыграю с ним "партишку". Мы же под этим платаном не за почетное звание чемпиона мира поборемся.

Проще всего было бы сделать несколько ходов, зевнуть фигуру и сдать-ся. Но такая быстрая и умышленная капитуляция никак не устроила бы Зюню, он, видно, жаждал честной борьбы и достойного сопротивления. Для такой упорной борьбы в моем скудном шахматном распоряжении не было необходимых средств — ни домашних заготовок с неожиданными и смелыми жертвами, ни хитроумных комбинаций, я понятия не имел о дебютах и эндшпилях, о защитах Нимцовича и Каро Канна, о ферзевом гамбите, я вообще давно к шахматам не притрагивался, и мне, вообще-то говоря, было абсолютно все равно, выиграю я у своего противника из Одессы или с треском проую. Единственное, в чем я и впрямь был заинтересован, так это в том, чтобы приободрить, душевно поддержать одинокого человека, волей судьбы заброшенного вместе с Люсей в конце его долгой и нелегкой жизни в заштатный приморский город Израиля, так не похожий на родную Одессу. Я вдруг представил себе, что передо мной на скамейке сидит не Зюня из Одессы в своих допотопных, еще советского производства сандалиях и в широких, как паруса, панталонах, а мой отец, который не только никогда в шахматы, но даже в простонародные шашки не играл, знать не знал знаменитого пианиста Эмиля Гилельса, не строил высотные дома, не отдыхал на своей даче на Фонтане, не получал от швейной артели "Рамуне" — "Ромашка" или городского комбината бытового обслуживания именных подарков к своему шестидесятилетию, а день-деньской корпел за своим преданным трофейным "Зингером", и меня с ног до головы окатило зябкой волной не то стыда, не то жалости, а может, тем и другим чувством вместе. Каково же было бы моему отцу, будь он на месте этого Зюни, у которого дочь Диана и сын оказались бы с ним на совершенно разных континентах — на Украине и в Америке, а сам он, их любимый родитель, их заступник и защитник, — на Земле обетованной?

— Сыграем, Зюня, — сказал я с какой-то поспешностью, стараясь избавиться от внезапно нахлынувших сравнений. — Но только с одним условием: без реванша. Времени у меня в обрез. Кто проигрывает, тот выбывает. Договорились?

— Ладно, — неохотно согласился Зюня. Он медленно, по-профессорски достал бархатный футляр с очками, протер их чистым носовым платком, напялил на переносицу и бережно, с тоскливой лаской поправил фи-

гуры, словно они были не из покрытого лаком дерева, а живыми, трепетными существами.

Партия развивалась мирно. Я долго задумывался над каждым ходом, чтобы не ударить лицом в грязь, а Зюня блицевал.

— За вами не угонишься, — заметил я с некоторой изумленной завистью.

— Привычка. Когда-то, лет пятьдесят тому назад, скажу вам по секрету, я был перспективным кандидатом в мастера спорта. В сеансе одновременной игры на двадцати досках я единственный из участников, а состав подобрался на славу, сделал с самым неповторимым кудесником Михаилом Талем ничью.

— О-о-о!

— А вы не okayте! Когда-то я был мужчиной что надо... Умел и дело делать, и выпить, и лезгинку сплясать....

— Вы и сейчас мужчина.

— Не льстите, сударь. Мужчина во мне уже давно умер. Шах!

Я прикрыл короля конем.

— А я вас недели две не встречал.

— Жена болела. Очень Люся болела... У нее что-то с легкими. Я уже хотел подкрепление вызывать — звонить в Одессу Диане. И сыну моему Эдику в Чикаго решил сигнал бедствия послать, чтобы немедленно прилетел. Диана, может быть, тут же примчалась бы, а за Эдика я не ручаюсь — у него там, скажу вам по секрету, большущая клиентура — дай Бог такую каждому еврею. За два дня до болезни мамы Эдик позвонил по телефону и сказал, что на прошлой неделе вырвал у вице-мэра Чикаго гнилой зуб мудрости. Господи, Господи, до какого же счастья мы, евреи, дожили, — наш парень у вице-мэра зубы рвет, а тот ему за это еще пачками зелененьких платит! Кто бы раньше мог подумать о таком счастье в Одессе? Это даже самому Леониду Утесову в голову не пришло бы. Правда?

— Чистая правда — не пришло бы.

Зюня неожиданно оборвал рассказ и стал что-то лихорадочно искать под скамейкой.

— Заболтался и нечаянно рукавом смахнул с доски офицера, — сказал он. — А слон, скажу вам по секрету, слишком большая фора.

Ни о чем секретном Зюня не сообщал, но зачастую вставлял в предложение для большей, что ли, достоверности и красочности это неуместное укоренившееся в его лексиконе присловье.

— Не беспокойтесь. Я подниму вашего слона, — успокоил я его, нагнулся и водворил на место оброненную фигуру.

— Спасибо. Трудновато стало мне, старику, землеце кланяться — нагнись, а разогнуться не могу, — он сделал длинную рокировку и продолжал: — Так на чем же мы с вами остановились? Ах, да! На моих потомках... Плохо, конечно, когда потомки не успевают к похоронам родителей. Но что поделаешь? Ведь если хорошенько подумать, таков железный закон природы: детям жить, а нам, старикам, помирать... — он вздохнул, отправил сползшие на конец носа очки в роговой оправе на прежнюю высотку, взял белого пехотинца противника и повертел в своей большой, с набухшими венами руке. — Сейчас я у вас, милейший, пешечку съем. С лишней пешкой шагать к победе веселей, как говаривал директор шахматного клуба, мой первый учитель Евсей Исаакович Зельдин.

— Ешьте, ешьте. Пусть вам будет на здоровье, — сказал я, надеясь, что это начало Сталинграда, и что через пять-десять ходов я буду наголову разбит.

— Если хотите, можете взять свой ход обратно. Вам я в порядке исключения разрешаю.

Зюня оживился, глаза его засияли. Видно было, что он испытывает удовольствие от собственного многословия, от своей доброты и великодушия. Зюня, согбенный, невзрачный Зюня в нелепых штанах и доисторических сандалиях весь светился изнутри, и этот свет озарял и меня, сливался с лучами расточительного израильского солнца, с зеленым прохладным свечением листьев векового платана, колеблемых легким и благодатным ветерком.

До миттельшпиля было еще далеко, но я уже лишился второго пехотинца. Зюня глубоко задумывался над каждым ходом, готовя мне очередную западню. То и дело склоняясь над доской, он пристально разглядывал нестройные порядки моего войска и бормотал себе под нос избитую песенку про Костю-моряка, который привозил в порт шаланды, полные кефали, и при появлении которого в пивной в почтительном порыве вставали все биндюжники Одессы.

Пока Зюня погружался в свои раздумья, я старался отвлечься от игры и задать ему какой-нибудь нешахматный вопрос — чаще всего о его детях.

— Диана и Эдик к вам в Израиль часто приезжают?

— Реже, чем эта... забыл ее фамилию... чернокожая советница Буша, — отвечал он, не отрывая взгляда от доски и борясь со сползающими на кончик носа очками.

— Кондолиза Райс.

— Так точно.

— Им Израиль нравится?



— Нравится... Очень нравится. Но оба они не хотят жить ни с арабами, ни с евреями. Диана — та замужем за украинцем Петром Луценко. Он у нее заведующий кафедрой в одесском сельхозинституте. А Эдик говорит, что тут слишком много Моисеев.

— Слишком много Моисеев? Каких Моисеев?

— Отвечу вам чуть позже, а пока вы, милостивый государь, вы попали под связку, и потеряете, по-моему, качество. А без качества, как поется в известной песне, жизнь плохая, не годится никуда...

— Пора, видно, белый флаг вывешивать. Не подобает мне с такими мастерами тягаться.

— Нет, нет, — перебил меня Зюня. — Полугаевский у Портиша выигрывал и без качества, — решительно остудил он мою пораженческую решимость и, чтобы еще больше привязать к скамейке, вернулся к ответу на мой вопрос.

— Мой Эдик говорит, что в нашем государстве каждый встречный и поперечный — Моисей, потому что он и только он точно и безошибочно знает, по какому пути ИзраИлю следует идти... А что же в итоге получается?

— Что же? — подыграл я ему

— А получается, говорит мой умненький Эдик, вот что: каждый Моисей изо всех сил тянет в свою сторону, и в результате сторон, куда надо бы ИзраИлю идти, хоть отбавляй, а пути как до сих пор не было, так и нет..

— Что и говорить, к зубному кабинету верный путь куда легче найти, — сказал я не без подковырки и, чтобы как-то сгладить свою дерзость, спросил: — А ваша Диана с братом согласна?

— Она не согласна. Будь она согласна, разве Луценки купили бы в ИзраИле квартиру?

— Квартиру? — выпучил я на него глаза.

— Ту, где мы живем... Эдик похвалил покупку. Вовремя, говорит, надумали, на случай вынужденного отступления с "ридной матери" Украины. Мол, мало чего там может произойти. Квартира хорошая, три комнаты, кухня, балкон, а главное — скамейка рядом, платан, русский магазин "Наташа" с пивом "Балтика" и со свиными сосисками. Пива мне нельзя, а свинину, скажу вам по секрету, я обожаю... Пока мы живы, будем квартиру Дианы сторожить.

Больше его расспрашивать было неудобно, я и так превысил свой лимит любопытства, но Зюня словно почувствовал, что у меня еще один вопрос повис на губах, продолжил:

— В Иерусалиме в университете на медицинском наша внученька Лора, младшая дочка Дианы, учится. Тут ее имя переделали на Лиору. Иногда она к нам на субботу и на праздники приезжает. Тогда мы сторожим квартиру втроем. Эдик прав. Ведь уже сейчас в Киеве, скажу вам по секрету, погромщикам памятники ставят, а в другом украинском городе, я забыл, в каком именно, грозятся всех жидов в Днепре утопить. Если в Одессе с еврейями станет худо, Диана и Петро переберутся сюда — она с компьютерами на "ты", он — крупный специалист по растениям и фруктам. Чего-чего, а растений и фруктов в ИзраИле — завались, к тому же оба шпарят по-английски, хоть и родились не в Лондоне, а на Канатной улице... Словом, не пропадут.

Зюня сам не заметил, как мало-помалу втянулся в разговор. Выиграв кроме двух пехотинцев еще и качество — ладью за слона, он вдруг против моего ожидания сник и потерял к партии прежний интерес — то ли устал, разморился на солнце, то ли разочаровался в моих способностях дать ему достойный отпор. Он стал меньше задумываться над ходами, и в конце концов, имея явное позиционное и материальное преимущество, предложил мне ничью, которую я из уважения к его прошлому высокому рейтингу не принял.

— С какой стати вы предлагаете мне ничью, когда у вас выигрышное положение?

— К вашему сведению, у меня, дорогой мой товарищ, уже все положения проигрышные. Жалко, что, как говорил мой учитель Евсей Исаакович Зельдин, с одним игроком нельзя сыграть вничью. С "малхемовесом". Ботвинник ему проиграл, Бронштейн... Таль... Скоро и кандидат в мастера Зюня Каплан ему проиграет...

— С кем, вы сказали, нельзя сделать ничью?

— На идише "малхемовес" означает смерть. Каждый с удовольствием предложил бы ей ничью. Но она ни с кем на ничью не играет. Знаете что — давайте отложим нашу партию на другой день. Вы ведь и завтра пройдете мимо моей скамейки, и послезавтра, и послепослезавтра, а мне делать нечего, за это время я успею еще раз внимательно проанализировать и оценить свою и вашу позиции и спокойно буду вас ждать на свежем воздухе.

— Пройти-то, наверно, пройду. Но я не могу вам обещать, что у меня будет время для доигрывания, — сказал я.

— Если будет, то обязательно доиграем, — настаивал Зюня. — Обязательно. Несмотря на мои очень уж неприличные годы, память у меня, скажу вам по секрету, хорошая. Я все восстановлю без всякого обмана, ниче-

го не прибавлю и не убавлю, расставлю на доске все как было. Можете быть уверены. Или начнем новую партию?

— Уж как вы захотите, — пообещал я ему и поднялся со скамейки.

Зюня сгреб с нее выигранные им фигуры и, нервно мигая, посмотрел на меня пронзительным прощальным взглядом, таким, каким когда-то, бывало, в Литве, в Вильнюсе, смотрел на меня мой престарелый отец, неуспынный сторож моей жизни, когда я брался за ручку обитой дерматином выходной двери его квартиры и когда, как всякий раз ему казалось, я уходил от него навсегда.

Дела вынудили меня надолго из солнцем зажаренного, как шашлык, Израиля уехать в страну исхода и, если честно признаться, в суматохе чужого города я успел, к стыду моему, забыть про Зюню, про скамейку под ветвистым платаном и недоигранную партию, в которой у меня не было никаких шансов на спасение.

Но по приезде домой меня почему-то снова потянуло на ту дорожку, на засиженную выпцветшую скамейку, на которой целыми днями сиднем сидел сторож дочкиной квартиры Зюня Каплан, но и на дорожке, и на скамейке я встретил чужих людей, которые курили, караулили свои свертки и целлофановые мешки с продуктами, ласкали своих пушистых баловней пекинесов, а иногда кое-кто оглашал тихие окрестности вьевшимся в кровь импортным сквернословием.

Но всякий раз, когда я проходил мимо платана, а проходил я мимо него чуть ли не через день, то заслуженного строителя Украины Зиновия Каплана там не заставал.

Томимый дурными предчувствиями, я старался менять график своего прохода через скверик мимо скамейки, но картина, к великому сожалению, не менялась.

Видно, жена Зюни Люся — вторая сторожиха квартиры дочери Дианы Луценко — снова захворала, а у внучки Лиоры в университете начались зачеты и экзамены, и кроме самого Зюни, за больной некому ухаживать.

Может, и сам старик занемог. Не богатырь же... Как никогда мне вдруг захотелось доиграть с ним отложенную партию или попробовать взять реванш в новой, снова пожертвовать своими пехотинцами и попасть под связку, которая неизбежно ведет к потере качества и позорному проигрышу..

Но моим хотениям, к несчастью, не суждено было сбыться.

На одном из уличных фонарей близ улицы имени Мордехая Анилевица мне бросилось в глаза развевающееся на ветру похоронное извещение с оборванными не ветром, а злоумышленником краями, обычным в таких

случаях благословением памяти и до ужаса знакомой фамилией — "Зиновий Каплан".

Опустив голову, я постоял возле фонаря, а потом направился, словно к надгробью, к скамейке, сел и вдруг среди кучки окурков, стаканчиков из-под мороженого, брошенных целлофановых мешочков с надписью "Зиль везоль" — "Самые дешевые товары" — увидел тонкую, почти растоптанную веточку с жухлыми полуживыми листочками, которой Зюня столько лет обмахивался, отпугивая настырных израИльских мух.

Я бережно поднял ее, как реликвию, с земли, очистил от пыли и в сумраке, опустившемся на разгоряченный город, медленно и суеверно стал ею обмахиваться. Мухи уже давно спали беспробудным сном, и я толком не знал, кого же я в тот вечер отпугивал доставшейся мне в наследство от Зюни веточкой, — может, собственное бессилие что-то изменить и вернуть назад, может, избавляющее от тревог и дурных предчувствий беспмятство, а может, подкрадывающегося тихой сапой "малхемовеса", с которым еще никому не удалось сыграть вничью и разойтись миром...

Израиль

